

ГОЛОС, ЧТО ПОЁТ ВО ТЬМЕ



18+

ТЕЯ ТОРН

Teya Thorn

Голос, что поёт во тьме

«Автор»

2026

Thorn T.

Голос, что поёт во тьме / Т. Thorn — «Автор», 2026

Люди называют его Небесным Даром. Эльфы - Сердцем Бездны. Метеорит, упавший сто лет назад, дал человечеству победу в войне. Но победа принесла с собой Искажение - заразу, что меняет плоть, и ни один целитель не знает, как его остановить. Заражённых заперли в Пределе, и с тех пор ордена изучают болезнь, чтобы не дать ей вырваться наружу. Эвелин - целительница Ордена Белой Лилии. Её работа - входить в Предел, наблюдать за больными и искать способ замедлить Искажение. Но там, за барьером, она делает то, чего не требуют отчёты: поёт. Песню из детства, которую помнит обрывками, которую пела мать. И больные затихают. Одна фраза, брошенная эльфом перед смертью, заставит её усомниться во всём: в Ордене, в своём прошлом, в голосе, который, кажется, знает больше неё самой. Потому что Небесный Дар был не даром. Это был сигнал. И ад уже ответил.

© Thorn T., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1	10
Глава 2	14
Г	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Teya Thorn

Голос, что поёт во тьме

Пролог

Лес, в котором они жили, не пугал. Он не был ни дремучим, ни тёмным. Сосны здесь росли вперемешку с рябинами и орешником, а тропинки, протоптанные животными, петляли между замшелыми валунами так прихотливо, что казалось - сам лес играет с тобой в прятки. Утренний свет, пробиваясь сквозь листву, рассыпался по траве золотой рябью, и в этой ряби даже старый трухлявый пенёк выглядел как домик лесного народца из маминых сказок.

Мать часто рассказывала ей про лесной народец - маленьких существ, что живут под корнями и в дуплах старых деревьев. Они не показываются людям, но если вести себя тихо и с добром, можно услышать, как они смеются тоненькими голосами в зарослях орешника. Девочка верила, что однажды обязательно их увидит. Мать не разубеждала - только улыбалась и гладила её по голове.

Девочка обожала этот лес. Каждое утро она выбегала за порог и шла босиком по влажной от росы траве, а лес встречал её запахом хвои, мятой и чем-то сладким - может, земляникой, может, медуницей. Она знала здесь каждое дерево. Вот у этого дуба кора похожа на морщины старого великана. Вот здесь, в развилке ветвей, живёт сова, которую девочка ни разу не видела, но слышала по ночам. А вон там, за ручьём, начинается малинник - летом мать брала её с собой, и они собирали ягоды в плетёную корзину, пока пальцы не становились липкими и алыми.

Дом их стоял не на опушке - он прятался в самом сердце этого леса, на небольшой поляне, куда не вела ни одна дорога. Деревня была далеко, дальше, чем девочка могла пройти без усталости, и люди оттуда заглядывали редко. Разве что за травами или за какой-нибудь поделкой, что мастерил отец. Чужие здесь не ходили. И это было хорошо.

Дом был деревянный, сложенный из потемневших от времени брёвен, с высокой крышей, поросшей мхом. Ставни мать выкрасила в голубой - цвет неба, говорила она, чтобы дом всегда был немножко в лете. Вдоль стен росли кусты шиповника, а у крыльца стояла старая скамья, на которой девочка любила сидеть вечерами, прижавшись к матери и глядя, как гаснет закат. Внутри было тесно, но уютно. В углу - большая печь, которую мать белила каждую весну. На полках - глиняная посуда, пучки сушёных трав под потолком, книги с пожелтевшими страницами. Полы мать застилала домоткаными половиками в синюю и красную полоску. Пахло здесь всегда чем-то тёплым: то ли хлебом, то ли мятой, то ли печёными яблоками. Сегодня пахло яблоками.

Девочка сидела на скамье у окна и смотрела, как мать колдует у печи. Та была ещё молода и красива - светлые волосы собраны в низкий пучок, несколько прядей выбились и вились у висков. Двигалась она мягко, плавно, и девочке казалось, что мать не ходит, а танцует. Даже когда просто мешает кашу.

- Ну что, маленькая, - обернулась мать, и в её серых глазах заплескали искорки. - Готова?

Девочка кивнула и спрыгнула со скамьи. Это был их ежедневный ритуал. Она усаживалась на низкую табуретку у печи, а мать брала деревянный гребень. Первое прикосновение всегда было осторожным: пальцы пробегали по прядям, распутывая ночные колтуны. Девочка замирала, как котёнок, которому чешут за ухом.

- Сегодня длинную песню или короткую? - спрашивала мать.

- Длинную!

Мать начинала петь. Голос её был негромким, но чистым, как лесной ручей. Он поднимался под потолок, плыл над половиками, вытекал в приоткрытое окно.

Песня была на языке, которого девочка не понимала, но это было и не важно. Она знала, о чём поёт мать: о древних временах, когда леса были выше, а звёзды ближе, о героях, что умели говорить с ветром, и о женщине, что полюбила врага.

Девочка закрыла глаза. Материнские пальцы двигались в такт мелодии - прядь за прядью, волна за волной. Гребень постукивал, как сердце. Коса рождалась тугая, красивая, перевитая синей лентой.

- Готово, - сказала мать, завязывая бант. - Красавица.

Девочка обернулась и обняла её - крепко, всем своим маленьким телом.

- Люблю тебя, - прошептала она.

- И я тебя, моя звёздочка.

День прошёл, как проходили все их дни. Они вместе собирали травы на дальнем лугу - арнику, лунницу, серебристую полынь. Мать рассказывала, какая трава от какой хвори помогает, а девочка запоминала. Вечером мать плела венок из одуванчиков, а девочка примеряла его и кружилась, пока голова не начинала кружиться.

Они не знали, что это последний такой день.

Утро началось как обычно. Солнце только-только поднялось над верхушками сосен, трава серебрилась росой. Девочка возилась у кустов шиповника, рассматривая, как муравей тащит соломинку, и напевала под нос обрывки вчерашней песни.

- Пора кушать! - позвала мать с крыльца. - И косу заплетём.

Девочка поспешила к дому. У крыльца мать нагнулась, отряхнула её босые ступни от травы, чмокнула в макушку.

- Ну вот, опять босиком выбежала, небось в муравейник влезла?

- Нет! Я смотрела просто...

- Ладно, верю. Садись.

Она снова взяла гребень. Снова запела. Но сегодня мелодия была другой - мягче, медленнее, с какой-то щемящей нотой. Словно мать что-то предчувствовала.

Девочка этого не заметила.

Топот копыт они слышали одновременно. Мать замолчала на полуслове. Рука с гребнем замерла в воздухе, а потом медленно опустилась.

Девочка обернулась: лицо матери изменилось. Искорки в глазах погасли. Рот сжался в тонкую линию.

- Что там, мам?

- Тихо.

Мать встала. Подошла к окну, чуть отодвинула занавеску. Девочка увидела, как побелели её пальцы, вцепившиеся в ткань.

- Слушай меня внимательно, - голос матери стал чужим: низким, быстрым. - Сейчас ты пойдёшь со мной.

Она схватила девочку за руку и потянула в угол комнаты, туда, где стоял ларь с мукой. Отодвинула его - не до конца, только чтобы открылась неприметная дверца в полу. Тайник. Девочка знала о нём, но никогда туда не залезала.

- Сиди здесь. Что бы ты ни услышала - не вылезай. Пока я сама не приду. Кинжал возьми с собой. - сказала она, и быстро вручила его ей.

- Но я...

- Слышишь меня? - мать присела перед ней на корточки, заглянула в глаза. Взгляд её был твёрдым, но в самой глубине плескался страх. - Обещай.

- Обещаю.

Мать поцеловала её в лоб - быстро, сухо - и закрыла дверцу. Ларь встал на место. Свет исчез. Девочка осталась в темноте. Она слышала, как мать выпрямилась. Как одёрнула платье.

Как шагнула к двери - шаги ровные, но слишком медленные для той, что минуту назад пела песню.

Дверь отворилась. На пороге стоял он. Высокий, в плаще цвета запёкшейся крови, расшитом серебряной нитью по вороту. Годы выбелили виски, заострили скулы, но не сторбили - он держался прямо, как клинок, вогнанный в землю. За его спиной переступали с ноги на ногу всадники, фыркали кони, позвякивала сбруя.

За спиной короля, на шаг позади, стояла женщина в тёмном платье послушницы. Она не была красива, но лицо её трудно было забыть: острое, с резкими скулами и тонкими губами, которые, казалось, никогда не улыбались. Глаза - светлые, почти бесцветные, тёмные волосы убраны под простой плат, никаких украшений, никакой женской слабости. Только на поясе - чётки из тёмного дерева, которые она перебирала длинными сухими пальцами, медленно и размеренно. Словно отсчитывала минуты чужой жизни.

Взгляд её скользил по двору, по окнам, по кустам. Ни тени эмоции. Только терпение и расчёт. Девочка, сама не зная почему, затаила дыхание, когда этот взгляд задержался на окне.

- Выйди, - произнёс чужой, властный голос.

Тишина. Мать стояла на крыльце, не двигаясь. Лицо её побелело, но подбородок был вздёрнут. Потом голос матери - спокойный, почти ледяной ответил:

- Ты нашёл меня.

- Я долго искал. - сказал он. - Ты знала?

- Знала. - И не боялась?

- Боялась. Но не за себя.

Король спешил. Никто не помог ему - он и не нуждался в помощи. Он стянул перчатки - медленно, палец за пальцем, и, не глядя, сунул их за пояс. Затем сделал несколько шагов к крыльцу и остановился.

- Ты не изменилась, - произнёс он наконец. Голос был низким, глухим, словно шёл не из горла, а откуда-то глубже.

- Ты тоже, - ответила мать.

Он усмехнулся - коротко, одним уголком рта. Внутри у него всё кипело. Ярость, обида, старая, как шрам, любовь, которую он так и не смог выжечь. Но лицо оставалось спокойным - он научился этому за долгие годы власти.

Он выдержал паузу. Всадники ждали. Послушница буравила мать взглядом.

- Оставьте нас, - бросил король, не оборачиваясь.

Послушница дёрнулась было возразить, но он повёл плечом - едва заметно, - и она отступила. Солдаты попятити коней к дальнему краю поляны. Теперь их никто не слышал.

Король шагнул ближе. Теперь их разделяло всего несколько ступеней.

Мать не отступила. Её серые глаза смотрели прямо, и в них не было мольбы - только сдержанный вызов, какой бывает у тех, кто уже терял всё и знает цену тому, что осталось.

- Зачем ты пришёл? - спросила она. - Мстить?

- Вернуть. Слово упало в тишину.

Ветер шевельнул выбившуюся прядь у её виска. Король проследил за этим движением, но руку не поднял. Только пальцы дрогнули у пояса.

- Вернись, - сказал он тихо. - Сама. Добровольно. Я всё устрою. Никто не узнает, где ты была и с кем. Ты займёшь своё место.

«То, что всегда было твоим. То, от чего ты отказалась».

Мать посмотрела на него долгим взглядом и покачала головой. В её серых глазах не было ни страха, ни ненависти - только усталость и тень той прежней гордости, что когда-то пленила его.

- Ты никогда не был моим королём, - сказала она. - И не будешь.

Он смотрел ей в глаза - и впервые за весь разговор в его лице что-то промелькнуло. Не ярость, а горечь. Старая, как мир, горечь человека, который получил всё, кроме единственного, чего хотел, но он тут же смял это, спрятал, запер. Скулы затвердели, а глаза стали холодными.

- У меня есть муж, - продолжила она. - Я люблю его.

Челюсть короля сжалась. Желваки заходили под кожей. Но голос остался ровным:

- Я знаю.

- И я никуда не поеду.

Он молчал. Долго. Птица прокричала где-то в чаще. Потом он выдохнул - медленно, тяжело, как человек, принявший решение.

- Что ж, - сказал он. - Тогда ты поедешь иначе.

И шагнул вперёд. Он взял её за запястье - не грубо, но крепко, как берут упрямого коня под уздцы. Мать попыталась вырваться, но его пальцы даже не дрогнули.

- Отпусти, - сказала она сквозь зубы.

В тот же момент скрипнули половицы за его спиной, девочка, забыв об обещании, надавила плечом на дверцу тайника. Та подалась - мать не успела задвинуть ларь плотно. Маленькая фигурка, щурясь от яркого света, выбралась из-под пола и встала в дверях дома.

В руке она сжимала кинжал - узкий, с чуть изогнутым лезвием, которое отливало синевой даже в скупом утреннем свете. Вдоль обуха тянулась гравировка - знаки на языке, которого девочка не понимала: тонкие, плавные, похожие на застывшую мелодию. Рукоять из тёмного серебра, без лишних украшений, только в наверху тускло мерцал камень - мутно-белый, странный, словно вбирающий в себя свет и отдающий обратно бледным, едва заметным сиянием. Мать подарила его год назад: «На всякий случай. Носи при себе».

- Отпусти её, - сказала девочка.

Голос дрогнул. Но кинжал - нет.

Король обернулся. Медленно. Он смотрел на ребёнка сверху вниз, и в его лице что-то происходило - удивление, холодный расчёт, тень любопытства.

«Ребёнок. Здесь. Значит, она не просто жила с ним - она родила ему. Этому простодушному. Она вынашивала его дитя, пока я...»

Он осёк себя. Не время. Не место.

- Чей? - спросил он коротко, не оборачиваясь.

Надеясь, что ребёнок не её.

Та молчала.

Король перевёл взгляд на девочку. Светлые волосы, серые глаза - те же, что у матери. И что-то ещё в чертах лица, что-то неуловимое, от чего у него перехватило дыхание.

«Она похожа на неё. Так похожа».

Он мог бы приказать убить обеих. Мог бы. Но тогда он остался бы ни с чем.

- Ребёнок, - произнёс он вслух, и слово прозвучало почти задумчиво. - Твой.

Мать рванулась, упала на колени. Схватила за край его плаща.

- Пожалей! Прошу! Я поеду с тобой - только оставь её! Оставь, умоляю...

«Она впервые просит. За всё время - впервые. И ради неё. Ради этой девчонки от него».

Он смотрел на девочку. Девочка смотрела на него. Кинжал в её руке дрожал, но не опускался.

- Хорошо, - сказал он наконец.

- Ты поедешь со мной. Ребёнка заберёт она. - Он кивнул на послушницу.

Та вышла вперёд, не скрывая довольной усмешки. Она взяла девочку за плечо, и хватка её была жёсткой, как капкан. Мать поднялась с колен. Посмотрела на дочь. Губы её дрогнули, но она не заплакала. Она не могла. Не сейчас. Не при нём.

- Иди с ней, - сказала она тихо.

- Я найду тебя. Слышишь?

Найду.

И девочка знала, что это неправда.

- Мама!

Девочка закричала. Она рванулась, но послушница держала крепко. Кинжал выпал из ослабевших пальцев и воткнулся в землю у порога.

- Мама!

Мать не обернулась. Только плечи дрогнули и с губ сорвалась мелодия - тасамая, утренняя. Тихая, почти неслышная.

Девочка запомнит её навсегда. Король развернулся и повёл мать к лошади. Он держал её под локоть, почти нежно - для тех, кто смотрел со стороны. Она шла, не оборачиваясь.

«Ты будешь моей, думал он, глядя вперёд, на дорогу. Пусть не женой. Пусть пленницей. Но будешь. А он умрёт. А девчонка... посмотрим. Может, из неё выйдет толк».

Всадники скрылись за деревьями. Послушница развернула ребёнка и повела прочь от дома. Девочка больше не кричала. Она шла молча, глядя прямо перед собой.

Лес больше не казался ей волшебным.

Глава 1

Говорят, детство кончается, когда ты перестаёшь верить в сказки. Моё кончилось, когда я поняла, что сказки были правдой. Теперь я живу с ней - она поёт во мне, даже когда я молчу.

Тяя Торн

Шёл 884 год от основания королевства - ровно сто лет с того дня, как Небесный Дар упал с небес. Двадцатый год правления Орвина Железного, короля Эрдана, вошёл в летописи как год тишины, ибо не случилось в тот год ни войны, ни мора, ни бунтов, а была лишь зима, затянувшаяся дольше обычного, да глухие слухи о том, что в Пределе опять кто-то умер. Впрочем, слухи эти никого не тревожили, потому что люди давно привыкли и к смертям, и к Пределу, и к тому, что мир, в котором они живут, держится на костях старой войны.

Король Орвин взойшёл на трон двадцать лет назад, после скоропостижной смерти отца. Отца звали Эдмером, и правил он сорок семь лет - война с эльфами, что тлела веками, вспыхнула при нём с новой, невиданной силой, а затем завершилась победой настолько полной и безоговорочной, что о цене предпочитали не говорить вслух даже спустя десятилетия. Своё прозвище - Мудрый - Эдмер получил за то, что после победы разделил осколки Небесного Дара между четырьмя орденами, сказав: «Никто не должен держать в руках такую силу в одиночку». Первые десять лет правления Орвина прошли в подавлении восстаний, укреплении орденов и медленном, холодном наведении порядка, и в этом железном упорстве он превзошёл даже военные годы отца.

После войны король не женился, не завёл фавориток, не устраивал пиров и турниров, а просто правил - холодно, расчётливо, без лишних слов и без видимого удовольствия. Двор называл его Железным за несгибаемую волю, народ за глаза звал Молчаливым за то, что король почти не говорил с подданными, а завистливая знать всё чаще шепталась о том, что он ещё и Бездетный, потому что наследника у трона не было, и с каждым годом это обстоятельство тревожило придворных всё сильнее.

Самого Орвина, казалось, не заботило ни то, ни другое, ни третье, потому что главной его заботой был Предел.

Пленных эльфов не уничтожили - их заперли, огородили барьерами, поставили вдоль границ гарнизоны и приставили ордена, которым приказали следить, изучать и не допускать. Официально Предел назывался Ограждёнными землями, ибо Искажение - так целители и книжники называли заразу, поразившую эльфов после войны, не щадило никого. Одних оно превращало в хрустальные изваяния, в которых ещё теплилась жизнь, но уже не осталось движения. Других перековывало в чудовищ не помнящих себя, не узнающих бывших соратников: одни, кого орденские книги называли ноктисами, таились во тьме и нападали быстрее, чем глаз успевал заметить; другие кружили над руинами на прозрачных, как слюда, крыльях, что звенели в полёте, словно битое стекло; третьи стояли неподвижно и шептали голосами умерших. А четвёртых Искажение не стирало до конца, они сохраняли разум, но он был искажён, и они служили заразе как жрецы, и называли их Детьми Бездны.

В народе Искажение называли проще - Скверна, и боялись так, что готовы были запереть всех эльфов без разбора, лишь бы зараза не перекинулась на людей. Единственным известным способом остановить её было изолировать заражённых, а с ними заодно и всех, кто мог быть заражён, то есть целый народ. Неофициально же Ограждённые земли были тюрьмой для целого народа, и об этом знали все, от последнего крестьянина до первого советника короны, но вслух не говорил никто.

Король Орвин не был жесток в том смысле, в каком бывают жестоки тираны, наслаждающиеся чужой кровью и чужим страхом. Он был, пожалуй, хуже - он был равнодушен, и эльфы для него являлись не врагами, достойными ненависти, а проблемой, которую требовалось держать под контролем. И он держал её с тем же холодным, непреклонным упорством, с каким делал всё остальное.

О нём рассказывали разное: что за двадцать лет он ни разу не улыбнулся, что в его покоях висит портрет женщины, которую он любил когда-то и которую потерял, но живописец, писавший этот портрет, бесследно исчез, а самого полотна никто никогда не видел. Рассказывали ещё много чего, и чем дальше, тем больше вымысел мешался с правдой, а правда - с вымыслом, так что в конце концов никто уже не мог сказать наверняка, где заканчивается одно и начинается другое.

Истины не знал никто.

Таков был мир - холодный, хрупкий, выстроенный на костях старой войны и держащийся на молчании. Но тем, кто родился и вырос внутри этого мира, он казался единственно возможным, а тем, кто вырос в ордене, ещё и единственно правильным.

Город назывался Кэрстрад, и лежал он в широкой горной долине, с трёх сторон окружённой вершинами, чьи склоны даже летом не теряли снежных шляпок. Город находился в дне пути от границы Ограждённых земель, а место для него выбрали не случайно, потому что отсюда было удобно и следить за Пределом, и держать гарнизоны в боевой готовности, и отправлять вглубь заражённых территорий разведывательные отряды. Серые каменные стены, прямые улицы, никаких лишних украшений, никакой позолоты - даже рынок здесь был тихим и сдержанным, не то что в столице, где торговцы орали на все голоса и зазывали покупателей, расхваливая товар. В Кэрстраде никто никого не зазывал, здесь всё делали быстро, чётко и без суеты, по-военному.

Над долиной, на высоте, от которой захватывало дух даже у привычных к горам путников, возвышался монастырь Белой Лилии, который не казался мрачным, потому что ни решёток на окнах, ни высоких стен, способных остановить врага, у него не было. Сёстры верили, что свет сам охраняет их, и потому монастырь смотрел на мир открыто: широкие арки внутреннего двора, сад с целебным

и травами, разбитый на террасах, спускающихся по склону, и часовня, сложенная из светлого камня, который на закате делался розовым, а в тумане - почти белым.

В часовне не было статуй - только алтарь, вырезанный из горного хрусталя, и за ним, на стене, фреска, изображавшая богиню Ардену. Она стояла на вершине, окутанная облаками, и в одной руке держала лилию - знак жизни, пробивающейся сквозь камень, а в другой - чашу, из которой лился свет. Говорили, что когда-то Ардена спустилась с гор к людям, чтобы научить их врачевать, и что лилия в её руке это обещание: даже в самой твёрдой скале может пробиться росток.

Лик богини художник оставил незаконченным, но не по неумению, а намеренно, ибо никто из смертных не вправе видеть лицо той, что смотрит с высоты. Только глаза были прописаны ясно - серые, как горное озеро в пасмурный день, и казалось, что они глядят прямо в душу каждому, кто входил в часовню.

Утреннее солнце, поднимаясь над восточным пиком, первым делом заливало светом именно алтарь, и хрусталь вспыхивал так ярко, что смотреть на него становилось почти больно. Послушницы в этот час уже бодрствовали, и первая из них, войдя в часовню, зажигала перед алтарём тонкую свечу в знак того, что свет Ардены не угас.

В этом монастыре учили лечить и учили терпению, а из девочек, попавших сюда по воле случая или по призванию, растили сестёр-целительниц, лучших из которых отправляли в Предел - не в наказание, а в долг, потому что кто-то должен был делать эту работу.

Среди послушниц, вышедших в то утро во внутренний двор, была девушка, которую мало кто назвал бы красавицей, но и незаметной её не назвал бы никто - что-то в ней заставляло обернуться, задержать взгляд, запомнить. Ей минуло восемнадцать, и детство осталось далеко позади - не только в годах, но и в том, как она держалась, как говорила, как смотрела на мир. Невысокая, тонкая в кости, она давно переросла детскую нескладность, но сохранила ту сдержанную, тихую грацию, которая появляется у тех, кто рано научился молчать.

Волосы у неё были светлые - не золотистые, не льняные, а пепельные, мягкого, приглушённого оттенка, и она заплетала их в тугую косу, перевитую синей лентой, как когда-то делала мать. Лента эта была старой и выцветшей, с потрёпанными краями, и сестра-наставница не раз предлагала заменить её на новую, но девушка отказывалась, ничего не объясняя, а наставница не настаивала - в ордене уважали молчание, когда оно было осмысленным.

Лицо её было скорее милым, чем красивым: мягкий овал, чуть вздёрнутый нос, рот, который редко улыбался, но когда улыбался преображался весь, и глаза - серые, спокойные, с длинными ресницами, смотрели на мир без страха, но и без вызова, как смотрят люди, которые давно привыкли полагаться только на себя.

Звали её Эвелин.

Она попала в орден когда ей было восемь, и помнила о своей прошлой жизни немного - но больше, чем рассказывала другим. Помнила лес, который не пугал, и дом с голубыми ставнями, и мать, чьи пальцы пахли мятой и яблоками. Помнила песню на языке, которого не понимала, и гребень, размеренно постукивавший в такт мелодии. Помнила она и тот день. Топот копыт, голос, от которого мать побледнела, тесный тайник, пропахший мукой, и страх - липкий, удушливый, который не проходил даже потом, когда она уже была в безопасности, в ордене, в тишине.

Вот только одного она не знала и никогда не могла понять: почему всё это случилось. Почему за ними пришли? Кто был тот человек в плаще цвета запёкшейся крови?

Сестра-наставница сказала ей в первый же день: «Твои родители умерли, твой дом сгорел, орден принял тебя из милости, и долг твой эту милость отработать». Эвелин не спорила. Она быстро поняла, что вопросы здесь не приветствуются, а память о матери лучше хранить глубоко внутри, как уголёк, который греет, но может и обжечь, если достать его наружу. Если мать увели, а не убили, значит, наставница лжёт, а если наставница лжёт, значит, правду скрывают намеренно, и выдать себя - последнее дело.

С тех пор она и отрабатывала: сперва прислуживала на кухне и в саду, потом, когда заметили способности, стала учиться лекарскому делу, а ещё через несколько лет её начали готовить к выходам в Предел. Она не спрашивала, за что ей такая судьба, потому что спрашивать было не у кого, да и привычка молчать уже стала частью её натуры.

Другие послушницы болтали о свадьбах, о рыцарях, о том, кто из какого рода и кто на кого смотрит, а Эвелин слушала, иногда кивала и ничего не рассказывала о себе. Иногда ей хотелось - особенно когда разговор заходил о матерях и дочерях, о доме, о детстве. Но она опускала глаза и молчала. Потому что стоило начать - и пришлось бы объяснять слишком многое. А объяснять было нечего. Только обрывки. Только песня. Только лента.

Сейчас, перед выходом в Предел, Эвелин задержалась у порога часовни. Она не заходила внутрь - только прислонилась плечом к каменному косяку и посмотрела на фреску, на серые глаза богини, на чашу, из которой лился свет.

— Ардена, — прошептала она одними губами, — помоги мне дойти и вернуться. И дай мне сил не бояться. Хотя бы сегодня.

Богиня молчала, как молчала всегда. Но Эвелин и не ждала ответа. Ей довольно было того, что кто-то - пусть даже всего лишь образ на древней фреске - смотрит на неё без осуждения.

Она развернулась, вышла во двор и остановилась у края террасы.

Утро было холодным и по-осеннему прозрачным, с монастырских террас открывался вид на долину, затянутую лёгкой дымкой, и горы вокруг стояли безмолвные и огромные, как стражи, которым нет дела до людских тревог. Где-то на кухне гремели котлами и пахло кашей с сушёной вишней, сестра Марта, старуха с громовым голосом и добрым сердцем, раздавала указания, и послушницы сновали туда-сюда, как пчёлы в улье. Эвелин не двигалась - она стояла, выпрямив спину и сложив руки перед собой, и смотрела на ворота.

Сегодня был день выхода в Предел.

Она ждала рыцаря-конвоира, и боялась так же, как боялась всегда, но шла, потому что не идти не могла. Не потому, что ей приказывали. Потому что там, за барьером, лежали эльфы, которым она могла помочь, и эта простая мысль - «я могу помочь» - была единственным, что придавало смысл её существованию.

Ворота скрипнули. Во двор вошёл рыцарь - высокий, широкоплечий, в сером плаще с выцветшей нашивкой Ордена Копья на плече. Шёл тяжело, по-военному, и рука его привычно лежала на рукояти меча. Лицо - обветренное, с резкими складками у рта, казалось старше, чем должно было быть, а глаза смотрели цепко и устало, как у человека, который давно перестал ждать от службы чего-то хорошего.

Он остановился в нескольких шагах, окинул Эвелин коротким взглядом, задержался на мгновенье дольше, чем требовал долг, и словно спохватившись, отвёл глаза.

Глава 2

*В дороге узнаешь человека лучше, чем за годы, проведённые вместе.
Но что, если ты и себя узнаешь впервые?*
Тя Торн

Дорога до Предела занимала день - ровно столько, чтобы успеть выехать на рассвете и добраться до барьера к закату, и за те несколько месяцев, что Корвин сопровождал Эвелин, они успели выучить её до последнего камня. Тракт спускался от Кэрстрада в долину серой, пыльной змеей, петляя меж холмов, чьи склоны поросли вереском и диким терновником, затем нырял в лес - не в тот, сказочный, что Эвелин помнила смутными обрывками из детства, а в другой: хмурый, еловый, пропахший сыростью и прелой хвоей. Здесь даже в солнечный день стоял полумрак, а ветер, запутавшись в мохнатых лапах елей, терял силу и стихал до шёпота. Земля под копытами лошадей была мягкой, устланной многолетней хвоей, и звук шагов получался глухим, крадущимся - будто сам лес прислушивался к тому, кто осмелился въехать в его пределы. Свет если и пробивался сюда, то лишь редкими, косыми лучами настолько бледными, что они не столько освещали дорогу, сколько подчёркивали глубину теней.

Сейчас они как раз миновали границу леса и углублялись в чащу.

Эвелин ехала впереди, и дорожный плащ - тёмно-синий, добротный, но не новый, выданный сестрой-экономкой ещё в первый выход, уже успел покрыться дорожной пылью и прилипшими сосновыми иголками. Под плащом на ней было простое серое платье, подпоясанное широким кожаным ремнём, а на ногах - высокие сапоги на шнуровке, купленные у городского сапожника: сестра Марта, ведавшая хозяйством, лично проследила, чтобы обувь была по ноге, а не с чужого плеча, как часто случалось с казёнными поставками. Сапоги и правда оказались хороши за несколько месяцев они разношены ровно настолько, чтобы не натирать, но ещё не просить замены.

Корвин ехал чуть позади. Конь под ним был гнедой, с тёмной гривой и белой отметиной на лбу в форме наконечника стрелы - таких лошадей разводили в восточных предгорьях, и славились они не скоростью, а выносливостью и спокойным нравом. Сам рыцарь сидел в седле тяжело - не от усталости, а от природы: широкий в плечах, с крупными руками, привыкшими к мечу, он казался частью коня, его продолжением. На плече темнела выцветшая нашивка Ордена Копья, а поверх дорожной кольчуги был накинут серый плащ - старый, вытертый на сгибах, но чистый.

Он замечал многое. Как Эвелин поправляет капюшон, хотя он и так сидит ровно, значит, нервничает. Как она щурится, вглядываясь в сумрак впереди, значит, устала, но не скажет. Как придерживает поводья левой рукой, а правой рассеянно трёт запястье - старая привычка, появившаяся после первого выхода, когда она до крови стёрла кожу, пытаясь удержать испуганную лошадь.

Он не говорил ей об этом. Не потому, что не хотел. Просто не знал, с чего начать. Сегодня, впрочем, тишина тяготила его сильнее обычного.

— Ты мало рассказываешь о себе, — произнёс он наконец, и голос его прозвучал глухо, будто слова тоже пробирались сквозь еловые ветви.

Эвелин обернулась через плечо - не резко, но с лёгким удивлением.

— Ты тоже.

Корвин хмыкнул.

— Ну вот. Уже кое-что. Оба мало рассказываем.

Она не ответила, но ему показалось или уголок её губ чуть дрогнул? Он не был уверен. С Эвелин вообще трудно быть в чём-то уверенным, она улыбалась так редко, что любое движение её лица можно было принять за улыбку и ошибиться.

Первые недели их совместных выходов прошли в тишине — той особенной, натянутой тишине, какая бывает между двумя людьми, которых свела не воля, а приказ. Корвин выполнял свою работу: держался слева и чуть позади, проверял оружие перед выездом, осматривал место привала прежде, чем позволить Эвелин спешиться. Она выполняла свою: не заговаривала первой, не жаловалась на усталость, не просила остановиться раньше времени. Оба вели себя так, словно ехали не вместе, а параллельно.

Но дорога — особенно та, что длится целый день, — имеет свойство стирать формальности.

— Твоя нашивка, — вдруг сказала она. — Орден Копья. Я мало о нём знаю. Только то, что вы воюете.

— Мы защищаем, — поправил он. — Или должны защищать. Разница есть, хотя на деле её почти не видно.

— Расскажи.

И он рассказал. Сперва неохотно, короткими фразами, но постепенно слово за словом — втянулся. Орден Копья, говорил он, старше Белой Лилии на полвека и создавался не для войны с эльфами, а для охраны восточных рубежей, когда Эрдан ещё не был единым королевством, а представлял собой разрозненные земли, чьи правители грызлись между собой за каждую горсть земли. Основал его Первый Командующий Эдмар Колдридж — имя, которое теперь знал каждый рыцарь, вступавший в Орден, потому что с него начиналась клятва: «Во имя Эдмара, стоявшего против тьмы, клянусь...» — а дальше у каждого своё. Клятву давали раз в жизни, при посвящении, и повторять её вслух не разрешалось никому, кроме как перед битвой.

Позже, когда началась война с эльфами, Орден Копья перебрали на запад, сперва держать оборону, потом наступать, а после победы охранять Ограждённые земли. С тех пор их главная задача — барьер и всё, что пытается прорваться с той стороны. Или с этой.

— И много пытается? — спросила Эвелин.

— Бывает. — Корвин помедлил. — Мой первый выход в Предел был как раз из-за этого.

Эвелин промолчала, но повернула голову чуть сильнее — не приказ, не просьба, просто знак, что слушает. Корвин понял.

— Меня только посветили, — начал он. — Дали нашивку, коня — вот этого самого, — он потрепал гнедого по гриве — и приставили к старшему рыцарю по имени Дарен. Он был из тех, кто прошёл войну: молчаливый, жёсткий, но справедливый. Нам приказали сопровождать отряд сестёр-целительниц до барьера и обратно, ничего сложного, обычный конвой. Но на обратном пути, уже почти у выхода из леса, на нас напали.

— Ноктисы?

— Одиночка. Прорвался через ограждение, как? до сих пор не знаю. Я не успел ничего сделать. Даже меч не вытащил. Дарен убил его одним ударом — старый мечник, он знал, куда бить, чтобы тварь не мучилась. А я стоял и смотрел.

— На ноктиса?

— На него тоже. — Корвин вздохнул. — Он ведь был эльфом когда-то. Понимаешь? У него было имя. Может, семья. А в итоге стал чудовищем, которое нападает в темноте.

Эвелин молчала. Она видела их — и тех, кто застыл хрустальными изваяниями, и тех, кто изменился настолько, что прежнего облика было не узнать. Каждый из них был чьим-то сородичем. И каждый напоминал ей о том, что Предел — это не просто место на карте.

— Я тогда впервые понял, — продолжил Корвин, — что Предел — это не просто служба. Не просто граница, которую нужно охранять. Это...

Он качнул головой, подбирая слово.

— Рана, — тихо сказала Эвелин.

Корвин посмотрел на неё - впервые за весь разговор не на дорогу, а прямо на неё.

— Да, — сказал он. — Рана. Которая не заживает.

Лес вокруг них начал редеть. В просветах между стволами показалось закатное небо - бледно-розовое, с тонкой полоской облаков. Где-то впереди, за последним холмом, лежал Предел.

— Остановимся здесь, — сказал Корвин, натягивая поводья. — Дальше пойдём завтра. Солнце сядет через час, а в темноте ноктисы быстрее нас.

Эвелин кивнула и спешила.

Они выбрали небольшую поляну, окружённую старыми елями, чьи стволы поросли мхом, такие обычно служили местом привала для дозорных отрядов. Корвин снял с коня перемётные сумки и пустил пастись на скудную траву у края поляны, а Эвелин развела костёр: быстро, умело, как учили в ордене. Пламя занялось с первого огнива.

Некоторое время они сидели молча, глядя в огонь. Потом Корвин заговорил - тихо, почти вполголоса, словно лес мог подслушать.

— Я после того первого выхода не спал несколько ночей. Всё думал: а если бы я был один? Без Дарена? Справился бы?

— Справился, — сказала Эвелин.

— Откуда знаешь?

— Потому что тыдо сих пор здесь.

Корвин поднял на неё глаза, и взгляд его задержался - на мгновение дольше, чем обычно, и в этом мгновении было что-то невысказанное. Но он ничего не сказал. Только кивнул и снова устался в костёр.

Первый ноктис напал до того, как пламя успело прогореть до углей.

Он вылетел из темноты бесшумно только воздух дрогнул, разорванный стремительным телом, и Корвин среагировал раньше, чем Эвелин успела вскрикнуть. Меч вышел из ножен с тихим, смазанным звоном, и первый удар пришёлся ноктису в плечо не смертельно, но достаточно, чтобы отбросить тварь обратно во тьму. Та перекатилась через голову и замерла на краю поляны, тяжело дыша.

В свете костра Эвелин впервые разглядела её так близко.

Когда-то это был эльф. От прежнего облика осталось немного, но осталось: длинные спутанные волосы, когда-то светлые, а теперь серые, как паутина, всё ещё струились по сутулым плечам; обрывки одежды некогда добротной, расшитой по вороту серебряной нитью, свисали грязными лохмотьями, едва прикрывая искажённое тело. Само тело вытянулось неестественно, конечности стали длиннее и тоньше, суставы вывернулись под неправильными углами, а кожа приобрела пепельный оттенок, какой бывает у древесной коры, тронутой плесенью. Глаз не было - глазницы затянула гладкая, полупрозрачная плёнка, сквозь которую угадывались очертания костей. Ноктис поводил головой из стороны в сторону, приносясь и прислушиваясь - он не видел их, но чувствовал: тепло тел, биение сердец, запах крови под кожей.

— Не двигайся, — тихо сказал Корвин. — Они охотятся на движение и звук.

Эвелин замерла. Рука сама потянулась к поясу, где висел небольшой нож - не боевой меч, но достаточно острый, чтобы в умелых руках стать оружием. Она не воин, но точно знала куда бить, и это уже было кое-что.

Второй ноктис появился слева.

Этот был ниже и шире первого - коренастый, с непропорционально длинными руками, заканчивавшимися не пальцами, а костяными пластинами, острыми, как обсидиановые сколы. Одежды на нём почти не осталось - только истлевший кожаный пояс, на котором ещё угадывались остатки гербовой пряжки: эльфийский узор из переплетённых листьев, теперь заляпанный грязью и чёрной кровью. Волосы у него выпали почти полностью - лишь редкие белёсые пряди

свисали с бугристого черепа. Он передвигался на четырёх конечностях, рывками, словно краб, и двигался не к Корвину, а к лошадям. Гнедой всхрапнул и забил копытами, натягивая путы.

— Он хочет отрезать нас от лошадей, — бросил Корвин. — Умный.

— Их двое? — спросила Эвелин.

— Трое.

Третий ноктис не нападал. Он стоял на дальней границе поляны - неподвижно, как изваяние, и в отличие от первых двух, у него были глаза. Вернее, один глаз: второй закрывала кристаллическая корка, проросшая от виска до скулы. Одежда на нём сохранилась лучше - длинный, до земли, плащ тёмно-зелёного сукна, расшитый по краю выцветшим золотом, и высокая обувь, какие носили эльфийские старейшины. Волосы - тёмные, с проседью были стянуты в низкий хвост кожаным шнурком. Он выглядел почти как живой. Почти. Здоровый глаз смотрел прямо на Эвелин, и в нём теплилось что-то похожее на разум. Не голод. Не ярость. Интерес.

— Этот... он другой, — прошептала она.

— Потом, — отрезал Корвин. — Сначала те двое.

Первый ноктис прыгнул снова.

Корвин встретил его мечом - клинок рассёк воздух и вошёл твари в бок, но недостаточно глубоко: ноктис извернулся в полёте, и удар пришёлся вскользь. Чёрная кровь брызнула на хвою, зашипела, испаряясь. Ноктис взвизгнул высоко, пронзительно и отпрянул, зажимая рану.

Второй тем временем подобрался к лошадям почти вплотную. Корвин не мог разорваться.

— Эвелин! Огонь! — крикнул он.

Она поняла мгновенно. Схватила из костра горящую ветвь - пламя жадно лизало сухую древесину и швырнула в сторону второго ноктиса. Тот шарахнулся, зашипев: огонь был ему не смертелен, но неприятен, он слепил его, сбивал с толку. Лошади заржали, но остались на месте.

Корвин воспользовался заминкой. Он шагнул вперёд, перехватил меч двумя руками и нанёс удар - колющий, целясь в основание шеи, туда, где позвоночник соединяется с черепом. Ноктис дёрнулся, захрипел и рухнул на землю, затихая.

— Бей в шею или хребет, — выдохнул Корвин. — Только так. Остальное заживает быстрее, чем режешь.

Второй ноктис, оправившись от страха перед огнём, кинулся на Корвина сбоку. Рыцарь развернулся, но не успел - костяные пластины полоснули его по левому предплечью, вспоров кольчугу и оставив три глубокие борозды. Кровь хлынула сразу, тёмная, почти чёрная в свете костра.

Корвин пошатнулся, но устоял. Меч он не выпустил.

Эвелин бросилась к нему, не думая, не взвешивая, просто бросилась, и всадила нож в плечо ноктиса, целясь в сустав, куда проходил главный нервный пучок. Кинжал вошёл глубоко, и тварь взвизгнула, задёргалась. Этого хватило, чтобы Корвин, преодолевая боль, перехватил меч здоровой рукой и одним точным ударом отсёк ноктису голову. Тело рухнуло на землю отдельно от головы, и чёрная кровь залила мох.

Третий ноктис - одноглазый - не двинулся с места. Он постоял ещё мгновение, глядя на Эвелин своим единственным глазом, а затем отступил в темноту. Бесшумно. Без единого звука. Словно его и не было.

Эвелин, тяжело дыша, опустилась на колени рядом с Корвином. Тот уже стягивал с плеча остатки кольчуги, морщась от боли.

— Дай посмотрю.

— Царапина, — сказал он.

— Целительница здесь я, — отрезала она, разрывая рукав его рубахи, — и я буду решать, царапина это или нет.

Она осмотрела рану. Глубокие, но чистые порезы, коготь не задел ни жилу, ни кость. Повезло. Она достала из поясной сумки чистую тряпицу и маленький глиняный пузырёк с густой, тёмно-зелёной мазью, пахнувшей горьким мхом и чем-то сладковатым - не то мёдом, не то древесной смолой.

— Это «сумеречная смола», — сказала она, заметив его взгляд. — Её варят из мха, который растёт только на северных склонах, у самых вершин. Собирать трудно, варить ещё труднее, но она вытягивает заразу и ускоряет заживление. Сестра Марта дала мне три пузырька перед первым выходом — сказала, что рыцари вечно лезут под когти, а у неё лишних нет.

— Значит, я не первый, — хмыкнул Корвин.

— Ты третий. — Она аккуратно нанесла мазь на рану, стараясь не давить слишком сильно. — Будет жечь.

— Пусть жжёт.

Пока она обрабатывала рану, Корвин смотрел на неё - не на лес, не на дорогу, а на неё. И во взгляде его было что-то новое. Не просто долг. Не просто привычка. Что-то, чему он пока не находил названия.

— Ты бросилась на ноктиса с кинжалом, — сказал он наконец.

— Я знала, куда бить.

— Знала, — согласился он. — И всё равно.

Эвелин затянула повязку и ничего не ответила. Но пальцы её, поправляя край бинта, дрогнули совсем чуть-чуть, почти незаметно.

— Третий ноктис, — сказала она, убирая пузырёк в сумку. — Тот, что стоял и смотрел. Почему он не напал?

Корвин взгляделся в чащу, куда ушёл одноглазый. Ветви уже сомкнулись за ним, и только тишина стояла такая глубокая, что звенело в ушах.

— Не знаю, — ответил он. — Но мне это не нравится.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.